

тимур кибиров

СТИХИ

О ЛЮБИ

Суть поэзии Тимура Кибирова в том, что он всегда распознавал в окружающей действительности «вечные образцы» и умел сделать их присутствие явным и неоспоримым. Гражданские смуты и домашний уют, трепетная любовь и яростная ненависть, шальной загул и тягомотная похмельная тоска, дождь, гром, снег, листопад и дольней лозы прозябанье, модные шибко умственные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и безымянная далекая — одна из мириад, но единственная — звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянствующая Франция, солнечное детство и простуженная юность, насущные денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него — с нами) только на одном языке — гибком и привольном, гневном и нежном, бранном и сюсюкающем, певучем и витийственном, темном и светлом, блужденно бессмысленном и предельно точном языке великой русской поэзии. Всегда новым и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Баратынском, Тютчеве, Лермонтове, Фете, Некрасове, Козьме Пруткове, Блоке, Ходасевиче, Мандельштаме, Маяковском, Пастернаке и Корнее Ивановиче Чуковском. Не говоря уж о Пушкине.

А н д р е й Н е м з е р

Тимур Кибиров
Стихи о любви (сборник)
Серия «Поэтическая
библиотека (Время)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171113

Стихи о любви: Время; Москва; 2015
ISBN 978-5-9691-1033-5

Аннотация

В сборник избранных стихотворений Тимура Кибирова вошли как ранние произведения (из книг «Стихи о любви», «Нотации», «Сантименты»), так и новые книги стихов («Кара-барас», «На полях „A Shropshire lad“», «Три поэмы»).

Содержание

Читателям Тимура Кибирова	6
Стихи о любви	13
I. Эклога	13
II. Баллада о деве белого плеса	16
III. Романсы черемушкинского района	22
«О доблести, о подвигах, о славе...»	22
«Ух, какая зима!..»	23
IV. Баллада о солнечном ливне	25
V. Романсы черемушкинского района	28
«Под пение сестер Лисициан...»	28
«Лифт проехал за стенкою где-то...»	29
VI. Баллада об Андрюше Петрове	32
VII. Романсы черемушкинского района	37
«Ай-я-яй, шелковистая шерстка...»	37
VIII. Элеонора	40
IX. Эклога	62
Сантименты	64
Вместо эпиграфа	64
Мише Айзенбергу	66
Эпитафии бабушкиному двору	74
Русская песня. Пролог	76
Эпитафии бабушкиному двору	79
К вопросу о романтизме	81

Русская песня	87
Эпитафии бабушкиному двору	95
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Тимур Кибиров

Стихи о любви (сборник)

© Тимур Кибиров, 2015

© А. С. Немзер, вступительная статья, 2015

© В. Я. Калныныш, оформление, 2015

© «Время», 2015

* * *

Читателям Тимура Кибирова

К публике Тимур Кибиров пришел сложившимся поэтом. Случилось это давно – двадцать лет назад, в громокипящем (точнее, пожалуй, – резвоскачающем) 1988 году.

На вопрос о том, когда был обретен Кибировым неповторимый голос, ответить затруднительно. Голос этот вполне отчетливо слышен в большинстве известных нам сочинений, писанных незадолго до прорыва в печать, и можно лишь посетовать, что за пределами предлагаемого итогового сборника остались поэмы «Лесная школа», «Буран» (обе – 1986), «Сквозь прощальные слезы» (1987), «Три послания» («Л. С. Рубинштейну», «Любовь, комсомол и весна. Д. А. Пригову», «Художнику Семену Файбисовичу»; 1987–1988) и ряд стихотворений той поры («После словие к книге „Общие места“, „Ветер перемен“, „Ничего не пила со вчерашнего дня...“, „Шаганэ ты моя, Шаганэ...“, „Какая скверная земля...“, „Рождественская песнь квартиранта“, „В новом, мамой подаренном зимнем пальто...“). Во второй – долго ждавшей своего часа, а потому припоздавшей – книге Кибирова „Календарь“¹ (Владикавказ, 1991) самые ранние опу-

¹ Первый кибировский сборник, составленный из стихов «перестроечных» лет, был частью экспериментального конволюта, призванного продемонстрировать как эстетический, так и политический плюрализм издательства «Молодая гвардия» образца 1990 года. В книге этой четверем ни в чем не схожим стихотворцам

сы относятся к середине семидесятых (надиктованные армейскими буднями стихи из цикла «Слово о полку Н-ском» сопровождаются двойной датировкой – 1975–1979). Существенно, однако, что многие мотивы «Календаря» станут смысловыми ядрами поэтической системы зрелого Кибирова, а иные стихотворения обретут новую жизнь в его позднейших книгах. Так «Эпитафии бабушкиному двору» (1984) войдут в «Сантименты» (1989). В книге «Послания Ленке и другие сочинения» найдется место стихам из цикла «Каникулы» (1984; «Майский жук прилетел...», «Карбида вожделенного кусочки...», «На коробке конфетной – Людмила...», «Скоро все это предано будет...») и «Идиллии. Из Андрея Шенье». Включенное в ту же книгу «Послание Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации» строится на фундаменте «Четырехстопных ямбов» (1983). Исступленно мрачное, весьма изысканно построенное, но прежде не публиковавшееся стихотворение 1982 года «Для того, чтоб узнать...» Кибиров приводит в «Улице Островитянова» (1999), снабдив иронично-горьким постскриптумом: „Вот такие вот пошлости“ / я писал лет семнадцать назад». Здесь же под названием «Подражание псалму» помещено известное по «Календарю» стихотворение «Нет мочи подражать Творцу...» (1982) с замечательной третьей строфы (первоначальный вариант – «Эй, кто смеется мне в лицо? / Ты кто? – Никто, Ничто. / И мне ли

быть всему творцом / Среди пустоты густой?», вариант окончательный читатель найдет в этой книге). Появившаяся в год тридцатилетия (по Пушкину – «рокового термина») формула «юбилей лирического героя» пятнадцать лет спустя стала заглавьем очередной книги (2000). Особенно примечательна судьба «Гравюры Дюрера» (1980), воспроизведенной (с минимальной правкой) в книге «Шалтай-Болтай» (2002) и, вероятно, стимулировавшей появление там всего цикла «Пинакотека». Рискну предположить, что когда (если) будущему историку словесности представится возможность прочесть отроческие и юношеские вирши Кибирова, то и там обнаружатся знакомые ноты – то, что поэт по сей день (буквально) не перестает измываться над своими дебютными «декадентскими» воспарениями, кажется, не опровергает эту гипотезу, но ее усиливает. Экскурсы в предысторию (причем не только в ее «дописьменный» младенческо-детско-отроческий период, но и во времена запойного юношеского стихотворства) Кибиров совершает постоянно, вплоть до вошедшей в последнюю книгу лирико-дидактической поэмы «Покойные старухи». Автобиографический миф о рождении поэта – неотъемлемая часть творимого им мира.

Двадцать лет – срок изрядный при любых условиях. Если же в этот временной промежуток укладывается несколько «эпох» (наш случай) – тем паче. Первые пришедшие к публике стихи Кибирова привораживали многих читателей исторической точностью, умением поймать и запечатлеть дух

бешено ускорившегося в ту пору времени. Лирический историзм поэт безусловно сохранил, а потому череда его сочинений вполне может читаться как своего рода «славная хроника», служить надежным, хотя и требующим особой оптики, источником по истории российской культуры (и/или общественной жизни) 1980-х – 2000-х годов. Фиксируя постоянные изменения социокультурного пейзажа, Кибиров с той же точностью и смелостью открывал миру приключения собственного духа, выстраивал детализированное повествование о своей блуждающей судьбе. Мена метрических, стилевых и жанровых доминант была не только наглядной, но и демонстративной. Совершая очередной поворот, Кибиров почти всегда прямо предлагал читателям настроиться на новую волну и «облегчал жизнь» интерпретаторам, подкладывая удобную схему «периодизации творческого процесса».

Двигаясь по предложенному Кибировым маршруту, следует, однако, помнить, что сколь угодно изощренные, неожиданные и дразнящие вариации обретают подлинный смысл (а потому способны привлечь внимание, стать расслышанными и понятыми) лишь в том случае, когда мы ощущаем властное присутствие рождающей их единой темы. Иначе говоря – судьбы поэта. Едва ли русский читатель способен представить себе более стремительную эволюцию и более широкий поэтический мир, чем пушкинские, но именно Пушкин однажды (и отнюдь не случайно) вымолвил «Каков я прежде был, таков и ныне я...» Истинный поэт оста-

ется собой при любых обстоятельствах. Вопреки иронично обыгранной (по сути – непреклонно оспоренной) Кибировым премудрости (равно любезной исполнителю чиновнику и высоколобому поставщику интеллектуальных бестселлеров) поэт в конечном счете не зависит от контекста. Как не должен зависеть от него всякий человек, о чем и напоминает ему поэтическое слово. Чем прихотливее узоры, тем яснее общий рисунок, чем ощутимей организующий стиховую ткань диалог, тем отчетливее единственный (и потому – узнаваемый) голос поэта.

Суть поэзии Тимура Кибирова в том, что он всегда распознавал в окружающей действительности «вечные образцы» и умел сделать их присутствие явным и неоспоримым. Гражданские смуты и домашний уют, трепетная любовь и яростная ненависть, шальной загул и тяготящая похмельная тоска, дождь, гром, снег, листопад и дольней лозы прозябанье, модные шибко умственные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и безымянная далекая – одна из мириад, но единственная – звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянствующая Франция, солнечное детство и простуженная юность, насущные денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него – с нами) только на одном языке – гибком и привольном, гневном и нежном, бранном и сюсюкающем, певучем и витийственном, темном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке

великой русской поэзии. Всегда новым и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Баратынском, Тютчеве, Лермонтове, Фете, Некрасове, Козьме Пруткове, Блоке, Ходасевиче, Мандельштаме, Маяковском, Пастернаке и Корнее Ивановиче Чуковском. Не говоря уж о Пушкине.

Много чего хлебнув, ощутив мерзкий вкус страха и греха, не поналышке зная о всеобщем нестроении и собственной слабости, Кибиров упрямо стоит на своем – неустанно благодарит Создателя и пишет стихи, то есть привносит в уже неменяемый, но не до конца безнадежный мир спасительную (только расслышь!) гармонию, напоминает нам (только пойми!) о нашей свободе. Как в пору отчаянного прощания с «советчиной», когда «некрасовский скорбный анапест», незаметно превращаясь в блоковский и набоковский, забивал горячими слезами носоглотку. Как в блаженные, но тайно тревожные, чреватые будущими срывами и потрясениями годы «Парафразиса». Как на рубеже тысячелетий, когда выстраданный и казавшийся спасительным уют дома на улице Островитянова сменился судорожной болью «нотаций», а измотанный счастливой игрой Амура (или кого-то более сильного) лирический герой справлял одинокий «полукруглый» юбилей. Как в ликующе наглом Солнечном городе, где стихоплету (такому же полоумному, как все великие и малые предшественники, как все, кому когда-нибудь выпадет участь бряцать на лире и дудеть в дудку) отведена роль заезжего (чужого, ненужного, лишнего, подозрительно-

го) Незнайки. Так и сейчас. Победно восклицая «С нами Бог! Кара-барас!», заполняя кириллицей (в лучшем порядке) поля «A Shropshire Lad», возводя волшебный дворец трех поэм (с многочисленными непредсказуемыми пристройками), Кибиров остается Кибировым. И, подобно Степану из хулиганского стишка, пленительной глоссой на которую вершится новейшая книга «Три поэмы», идет вперед, «невзирая на морозы, / на угрозы и психозы».

А потому нам – его счастливым читателям – не страшен серый волк!

Андрей Немзер

Стихи о любви

1988

Е. Б.

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут про из вести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Н. С. Лесков

I. Эклога

Мой друг, мой нежный друг, в пунцовом георгине
могучий шмель гудит, зарывшись с головой.
Но крупный дождь грибной так легок на помине,
так сладок для ботвы, для кожи золотой.

Уж огурцы в цвету, мой нежный друг. Взгляни же
и, ангел мой, пойми – нам некуда идти.
Прошедший дождь проник сквозь шиферную крышу
и томик намочил Эжена де Кюсти.

Чей перевод, скажи? Гандлевского, наверно.
Анакреонтов лад, гораццианский строй.
И огурцы в цвету, и звон цикады мерный,
кузнечика точней и лиры золотой.

И солнце сквозь листву, и шмель неторопливый,
и фавна тихий смех, и сонных кур возня.
Сюда, мой друг, сюда, мой ангел нерадивый,
приляг, мой нежный друг, и не тревожь меня.

О, налепи на нос листок светло-зеленый,
о, закрывай глаза и слушай в полусне
то пение цикад, то звон цевницы сонной,
то бормотанье волн, то пенье в стороне

аркадских пастухов – из томика, из плавной
медовой глубины, летеиской тишины,
и тихий смех в кустах полуденного фавна,
и лепет огурцов, и шепот бузины.

Сюда, сюда, мой друг! Ты знаешь край, где никнет
клубника в чернозем на радость муравьям,
где сохнет на столе подмоченная книга
Эжена де Кюсти, и за забором там

соседа-фавна смех, и рожки, и гармошка,
и Хлои поясок, дриады локоток,
и некуда идти. И за грядой картошки
заросший ручеек, расшатанный мосток.

II. Баллада о деве белого плеса

Дембеля возвращались в родную страну,
проиграв за кордоном войну.

Пили водку в купе, лишь ефрейтор один
отдавал предпочтенье вину.

Лишь ефрейтор один был застенчив и тих,
и носил он кликуху Жених,
потому что невеста его заждалась
где-то там, на просторах родных.

Но в хмельном кураже порешили они
растянуть путешествия дни
и по Волге-реке прокатить налегке.
Ах, ефрейтор, пусть едут одни!

Ах, ефрейтор, пускай они едут себе.
Ни к чему эти шутки тебе.
Ты от пули ушел и от мины ушел.
Выходи, дурачок, из купе.

Ведь соседская Оля, невеста твоя,
месяц ходит сама не своя,
мать-старушка не спит, на дорогу глядит...
Мчится поезд в родные края!

Но с улыбкой дурною и песней блатной
в развеселой компании хмельной
проезжает ефрейтор родные места,
продолжает в каюте запой.

Вниз по Волге плывут, очумев от вина,
даже с берега песня слышна.
Пассажиры боятся им слово сказать.
Так и хлещут с утра до темна.

Ах, ефрейтор, ефрейтор, куда ж ты попал?
Мыться-бриться уже перестал.
На глазах пассажиров, за борт наклонясь,
ты рязанскою водкой блевал...

На четвертые сутки, к полудню проспаясь,
головою похмельной винясь,
он на палубу вышел в сиянье и зной.
Блики красные плыли у глаз.

И у борта застыв, он в себя приходил,
за водою блестящей следил.
И не сразу заметил он остров вдали.
Лишь тогда, когда ближе подплыл.

И тогда-то Ее он увидел, бедняк,
и не сразу он понял, дурак,
а сперва улыбнулся похабной губой,
а потом уже вскрикнул и – Боже ты мой! –

вдоль по борту пошел кое-как

за виденьем, представшим ему одному,
почему-то ему одному,
за слепящим виденьем, за тихим лучом,
как лунатик, пришел на корму.

Дева белого плеса и тихой воды,
золотой красоты-наготы
на белейшем коне в тишине, в полусне...
Все, ефрейтор злосчастный. Кранты.

Все, ефрейтор, пропал, никуда не уйдешь.
Лучше б было нарваться на нож,
на душманскую пулю, на мину в пути.
Все, ефрейтор. Теперь не уйдешь...

И когда растворилось виденье вдали,
кореша-дембеля подошли,
чтоб в каюту позвать, чтоб по новой начать.
Но узнать Жениха не смогли.

Бледен лик его был, и блуждал его взор,
и молот несусветный он вздор.
Деву белого плеса он клялся найти,
корешей он не видел в упор.

И на первой же пристани бедный Жених
вышел на берег, грустен и тих,

и расспрашивать стал он про Деву свою,
русокосую голую Деву свою,
Деву плеса в лучах золотых.

Ничего не добившись, он лодку нанял,
взад-вперед по реке он гонял.
И однажды он вроде бы видел ее.
Но вблизи он ее не признал.

И вернулся он в город задрипанный тот,
и ругался он – мать ее в рот,
и билет он купил, и уехать решил.
Но ушел без него пароход.

После в чайной он пил, и в шашлычной он пил,
в станционном буфете бузил,
и с ментами подрался, и там, в КПЗ,
все о Деве своей говорил.

Говорил он о Деве смертельной своей,
голосил он и плакал о ней,
о янтарных глазах, золотых волосах...
И блатные ему отвечали в сердцах:
«Мало ль, паря, на свете блядей?»

Но белугой ревел он, и волком он выл,
и об стенку башкой колотил,
и поэтому вскорости был у врачей,
и в психушку потом угодил.

И когда для порядка вкололи ему,
чтоб не очень буянил, сульфу,
и скрутила его многорукая боль,
и поплыл он в багровую тьму,

среди тьмы этой гиблой, в тумане густом
он увидел вдали за бортом,
он за бортом вдали различил-угадал
этот остров в сиянье златом.

И к нему подплывая в счастливых слезах
на безумных, горящих глазах
и с улыбкой блаженства и светлой любви
на бескровных от боли губах,

озараясь все больше, почти ослеплен
блеском теплых и ласковых волн
и сиянием белых прибрежных песков,
свою Деву разглядывал он.

И она улыбалась ему и звала,
за собою манила, вела
навсегда, навсегда, никуда, без следа,
никогда, мой любимый, уже никогда...
И вода под копытом светла.

Ну, садись же, садись, дурачок, на коня,
обними же, не бойся меня,

мы поедem с тобой навсегда без следа
никуда, дурачок, как песок, как вода,
в сонном мареве вечного дня...

Дева белого плеса, слепящих песков,
пощади нас, прости дураков,
золотая краса, золотые глаза,
белый конь, а над ним и под ним бирюза.
Лишь следы на песке от подков.

III. Романсы черемушкинского района

«О доблести, о подвигах, о славе...»

О доблести, о подвигах, о славе
КПСС на горестной земле,
о Лигачеве иль об Окуджаве,
о тополе, лепечущем во мгле.

О тополе в окне моем, о теле,
тепле твоём, о тополе в окне,
о том, что мы едва не с колыбели,
и в гроб сходя, и непонятно мне.

О чем еще? О бурных днях Афгана,
о Шиллере, о Фильке, о любви,
о тополе, о шутках Петросяна,
о люберах, о Спасе на крови.

О тополе, о тополе, о боли,
о валидоле, о юдоли слез,
о перебоях с сахаром, о соли
земной, о полной гибели всерьез.

О чем еще? О Левке Рубинштейне,
о Нэнси Рейган, о чужих морях,
о юности, о выпитом портвейне,
да, о портвейне! О пивных ларьках,

исчезнувших, как исчезает память,
как все, клубясь, идет в небытие.
О тополе. О БАМе. О Программе
КПСС. О тополе в окне.

О тополе, о тополе, о синем
вечернем тополе в оставленном окне,
в забытой комнате, в распахнутых гардинах,
о времени. И непонятно мне.

«Ух, какая зима!..»

Ух, какая зима! Как на Гитлера с Наполеоном
навалилась она на невинного, в общем, меня.
Индевеют усы. Не спасают кашне и кальсоны.
Только ты, только ты! Поцелуй твой так полон огня!

Поцелуй-обними! Только долгим и тщательным треньем
мы добудем тепло. Еще раз поцелуй горячей!
Все теплей и теплее. Колготки, носки и колени.
Жар гриппозный и слезы. Мимозы на кухне твоей.

Чаю мне испитого! Не надо заваривать – лишь бы кипяток да варенье. И лишь бы сидеть за твоей чистой-чистой клеенкой. И слышать, как где-то в Париже говорит комментатор о нуждах французских детей...

Ух, какая зима! Просто Гитлер какой-то! В такую ночь темную ехать и ехать в Коньково к тебе.

На морозном стекле я твой вензель чертить не рискую – пассажиры меня не поймут, дорогая Е. Б.

IV. Баллада о солнечном ливне

В годы застоя, в годы застоя
я целовался с Ахвердовой Зоей.

Мы целовались под одеялом.
Зоя ботанику преподавала

там, за Можайском, в совхозе «Обильном».
Я приезжал на автобусе пыльном

или в попутке случайной. Садилось
солнце за ельник. Окошко светилось.

Комната в здании школы с отдельным
входом, и трубы совхозной котельной

в синем окне. И на стенке чеканка
с витязем в шкуре тигровой. Смулянкой

Зоя была, и когда целовала,
что-то всегда про себя бормотала.

Сын ее в синей матроске на фото
мне улыбался в обнимку с уродом

плюшевым. Звали сыночка Борисом.

Муж ее, Русик, был в армию призван

маршалом Гречко... Мое ты сердечко!
Как ты стояла на низком крылечке,

в дали вечерние жадно глядела
в сторону клуба. Лишь на две недели

я задержался. Ах, Зоинька, Зоя,
где они, Господи, годы застоя?

Где ты? Ночную порою собаки
лай затевали. Ругались со вкусом

механизаторы вечером теплым,
глядя в твои освещенные стекла.

Мы целовались. И ты засыпала
в норке под ватным своим одеялом.

Мы целовались. Об этом проведая,
бил меня, Господи, Русик Ахвердов!

Бил в умывалке и бил в коридоре
с чистой слезою в пылающем взоре,

бил меня в тихой весенней общаге.
В окнах открытых небесная влага

шумно в листву упала и пела!
Солнце и ливень, и все пролетело!

Мы оглянуться еще не успели.
Влага небесная пела и пела!

Солнце, и ливень, и мокрые кроны,
клёны да липы в окне растворенном!

Юность, ах, боже мой, что же ты, Зоя?
Годы застоя, ах, годы застоя,

влага небесная, дембельский май.
Русик, прости меня, Русик, прощай.

V. Романсы черемушкинского района

«Под пение сестер Лисициан...»

Под пение сестер Лисициан
на волнах «Маяка» мы закрываем
дверь в комнату твою и приступаем
под пение сестер Лисициан.

Соседи за стеною, а диван
скрипит как черт, скрипит как угорелый.
Мы тыкались друг в дружку неумело
под пение сестер Лисициан.

9-й «А». И я от счастья пьян,
хоть ничего у нас не получилось,
а ты боялась так и торопилась
под пение сестер Лисициан.

Когда я ухожу, сосед-болван
выходит в коридор и наблюдает.
Рука никак в рукав не попадает
под пение сестер Лисициан.

«Лифт проехал за стенкою где-то...»

Лифт проехал за стенкою где-то.
В синих сумерках белая кожа.
Размножаться – плохая примета.
Я в тебя никогда... Ну так что же?

Ничего же практически нету –
ни любви, ни смысла, ни страха.
Только отсвет на синем паркете
букв неоновых универмага.

Вот и стали мы на год взрослее.
Мне за тридцать. Тебе и подавно.
В синих сумерках кожа белеет.
Не зажечь нам торшер неисправный.

В синих сумерках – белая кожа
в тех местах, что от солнышка скрыты,
и едва различим и тревожен
шрам от детского аппендицита.

И конечно же главное – сердцем
не стареть... Но печальные груди,
но усталая шея... Ни веры,
ни любви, наверно, не будет.

Только крестик нательный, все время
задевавший твой рот приоткрытый,
мне под мышку забился... Нигде мы
больше вместе не будем. Размыты

наши лица – в упор я не вижу.
Ты замерзла, наверно, укройся.
Едет лифт. Он все ближе и ближе.
Нет, никто не придет, ты не бойся.

Дай зажгу я настольную лампу.
Видишь, вышли из сумрака-мрака
стул с одеждой твоею, эстампы
на стене и портрет Пастернака.

И окно стало черным, почти что
и зеркальным, и в нем отразилась
обстановка чужая. Смотри же,
кожа белая озолотилась.

Третий раз мы с тобою. Едва ли
будет пятый. Случайные связи.
Только СПИДа нам и не хватало.
Я шучу. Ты сегодня прекрасна.

Ты всегда хороша несравненно.
Ну и ладно, дружок. Пора нам.
Через час возвращается Гена.
Он теперь возвращается рано.

Ничего же практически нету.
Только нежность на цыпочках ходит.
Ни ответа себе, ни привета,
ничего-то она не находит.

VI. Баллада об Андрюше Петрове

В поселке под Наро-Фоминском
сирень у барака цвела.
Жена инженера-путейца
сыночка ему родила.

Шли годы. У входа в правление
менялись портреты вождей.
На пятый этаж переехал
путеец с семьею своей.

И мама сидела с Андрюшей,
читала ему «Спартак»,
на «Синюю птицу» во МХАТе
в столицу возила сына.

И плакала тихо на кухне,
когда он в МАИ не прошел,
когда в бескозырке балтийской
домой он весною пришел.

И в пединститут поступил он,
как девушка, скромн и чист,
Андрюша Петров синеглазый,
романтик и волейболист.

Любил Паустовского очень,
и Ленина тоже любил,
и на семиструнной гитаре
играл, и почти не курил.

На первой картошке с Наташей
Угловой он начал дружить,
в общаге и в агитбригаде,
на лекциях. Так бы и жить

им вместе – ходить по театрам
и петь Окуджаву. Увы!
Судьба обещала им счастье
и долгие годы любви.

Но в той же общаге московской
в конце коридора жила
Марина с четвертого курса,
курила она и пила.

Курила, пила, и однажды,
поспорив с грузином одним,
в чем мать родила по общаге
прошла она, пьяная в дым.

Бесстыдно вихляла ногами,
смеялась накрашенным ртом,
и космы на плечи спадали,
и все замирали кругом...

Ее выгонять собирались,
но как-то потом утряслось.
И как-то в компании веселой
им встретиться всем довелось.

Андрюша играл на гитаре,
все пели и пили вино,
и, свет потушив, танцевали,
открыв для прохлады окно.

Андрюша, зачем ты напился,
впервые напился вина?!
Наташа ушла, не прощаясь,
в слезах уходила она.

И вот ты проснулся. Окурки,
бутылки, трещит голова...
А рядом, на смятой постели,
Марина, прикрыта едва...

Весь день тебя, бедный, тошнило,
и образ Наташи вставал,
глядел с укоризной печальной,
мелодией чистой звучал.

И все утряслось бы. Но вскоре
Андрюша заметил, увы,
последствия связи случайной,

плоды беззаконной любви.

И ладно бы страшное что-то,
а то ведь – смешно говорить! –
Но мама, но Синяя птица!
Ну как после этого жить?

Ведь в ЗАГСе лежит заявление,
сирень у барака цветет,
и в вальсе кружится Наташа,
и медленно смерть настает...

И с плачем безгласное тело
Андрюшино мы понесли.
Два дня и две ночи висел он,
пока его в петле нашли.

И плакала мама на кухне,
посуду убрав со стола.
И в академический отпуск
Наташа Углова ушла.

Шли годы. Портреты сменились.
Забыв Паустовский почти.
Таких синеглазых студентов
теперь нам уже не найти.

Наташу недавно я встретил,
инспектор она гороно.

Вот старая сказка, которой
быть юной всегда суждено.

VII. Романсы черемушкинского района

*Мужским половым органом у птиц является
бобовидный отросток.
«Зоология»*

*... ведь да же столь желанные всем любовные
утехи есть всего лишь трение двух слизистых
оболочек.
Марк Аврелий*

«Ай-я-яй, шелковистая шерстка...»

Ай-я-яй, шелковистая шерстка,
золотая да синяя высь!..
Соловей с бобовидным отростком
над смущенною розой навис.

Над зардевшейся розой нависши
с бобовидным отростком своим,
голос чистый все выше и выше –
Дорогая, давай улетим!

Дорогая моя, улетаю!

Небеса, погляди в небеса,
легкий образ белейшего рая,
ризы, крылья, глаза, волоса!

Дорогая моя, ах как жалко,
ах как горько, какие шипы.
Амор, Амор, Амор, аморалка,
блеск слюны у припухшей губы.

И молочных желез колыханье,
тазобедренный нежный овал,
песнопенье мое, ликование,
тридевятый лучащийся вал!

Марк Аврелий, ты что, Марк Аврелий?
Сам ты слизистый, бедный дурак!
Это трели и свист загорелый,
это рая легчайшего знак,

это блеск распутившейся ветки,
и бессмертья, быть может, залог,
скрип расшатанной дачной кушетки,
это Тютчев, и Пушкин, и Блок!

Это скрежет всей мебели дачной,
это все, это стон, это трах,
это белый бюстгальтер прозрачный
на сирени висит впопыхах!

Это хрип, это трах, трепыханье
синевы да сирени дурной,
и сквозь веки, сквозь слезы блистанье,
преломление, и между ног...

Это Пушкин – и Пригов почти что!
Айзенберг это – как ни крути!
И все выше, все выше, все чище –
Дорогая, давай улетим!

И мохнатое влажное солнце
сквозь листву протянуло лучи.
Загорелое пение льется.
Соловиный отросток торчит.

VIII. Элеонора

*Ходить строем в ногу в казарменном помещении,
за исключением нижнего этажа, воспрещается.
Устав внутренней службы*

1

Вот говорят, что добавляют бром
в солдатский чай. Не знаю, дорогая.
Не знаю, сомневаюсь. Потным лбом
казенную подушку увлажняя,
я, засыпая, думал об одном.

2

Мне было двадцать лет. Среди салаг
я был всех старше – кроме украинца
рябого по фамилии Хрущак.
Под одеялом сытные гостинцы
он ночью тайно жрал. Он был дурак.

3

Он был женат. И как-то старики
хохочущие у него отняли
письмо жены. И, выпучив зрачки,
он молча слушал. А они читали.
И не забыть мне, Лена, ни строки.

4

И не забыть мне рев казармы всей,
когда дошли до места, где Галина
в истоме нежной, в простоте своей
писала, что не нужен ей мужчина
другой, и продолжала без затей,

5

и вспоминала, как они долблись
(да, так и написала!) в поле где-то.
И не забыть мне, Лена, этих лиц.
От брата Жоры пламенным приветом

письмо кончалось. Длинный, словно глист,

6

ефрейтор Нинкин хлопнул по спине
взопревшего немого адресата:
«Ну ты даешь, земля!» Страшно мне
припоминать смешок придурковатый,
которым отвечал Хрущак. К мотне
тянулись руки. Алый свет заката
лежал на верхних койках и стене.

7

Закат, закат. Когда с дежурства шли,
между казарм нам озеро сияло.
То в голубой, то в розовой пыли
стучали сапоги. И подступало,
кадык сжимало. Звало издали.

8

И на разводе духовой оркестр
трубил и бухал, слезы выжимая,
«Прощание славянки», и окрест
лежала степь, техзону окружая,
и не забыть мне, Лена, этих мест

9

киргиз-кайсацких. Дни за днями шли.
Хрущак ночами ел печенье с салом.
На гауптвахту Масича вели.
И озеро манило и сияло.
Кадык сжимало. Звало издали.

10

Душа ли? Гениталии? Как знать.
Но, плавясь на плацу после обеда
в противогазе мокром, я слагать
сонеты начал, где прохладной Ледой
и Лорелеей злоупотреблять

11

вовсю пустился. И что было сил
я воспевал грудастую студентку
МОПИ имени Крупской. Я любил
ее, должно быть. Белые коленки
я почему-то с амфорой сравнил.

12

Мне было двадцать лет. Засохший пот
корой белел под мышками. Кошмаром
была заправка коек. Целый год
в каптерке мучил бедную гитару
после отбоя Деев-обормот.

13

А Ваня Шпак из отпуска привез
японский календарик. Прикрывая
рукою треугольничек волос,
на берегу сияющем нагая,

смеясь, стояла девушка. Гендос

14

Харчевников потом ее хотел
у Шпака обменять на скорпиона
в смоле прозрачной, только не успел –
ее отнял сам капитан Миронов.
И скорпиона тоже... Сотня тел

15

мужающих храпела в липкой тьме
после отбоя. Под моею койкой
разбавленный одеколон «Кармен»
деды втихую пили. За попойкой
повздорили, и, если бы ремень

16

не вырвали у Строева, бог весть,
чем кончилось бы... Знаешь, мой дружочек,

как спать хотелось, как хотелось есть,
как сладкого хотелось – хоть кусочек!
Но более всего хотелось влезть

17

на теток, развалившихся внизу
на пляже офицерском, приспустивших
бретельки. Запыленную кирзу
мы волокли лениво – я и Лившиц,
очкастые, смешные. Бирюзу

18

волны балхашской вспоминаю я
и ныне с легким отвращением. С кайфом
мы шли к майору Тюрину. Семья
к нему приехать собиралась. Кафель
мы в ванной наклеили за два дня.

19

И вволю накупались, и, куря,
на лоджии мы навалялись вволю.
Но как мне жалко, Лена, что дурак
я был, что не записывал, что Коля
Воронин на дежурстве до утра

20

напрасно говорил мне о своей
любви, о полустанке на Урале,
об отчине, о лихости друзей,
которые по пьянке раз угнали
машину с пивом. Кроме Лорелей

21

с Линорами и кроме Эвридик,
все музе худосочной было дико.
А в окнах аппаратной солнца лик
уже вставал над сопкой... Вроде, Викой
звалась его невеста. Выпускник

22

училища десантного, сосед,
ее увел. Дружки побить пытались
его, но сами огребли. Мопед
еще у Коли был. Они катались
на нем. Все бабы – бляди. Счастья нет.

23

Тринадцать лет уже, дружок, прошло,
но все еще кадык сжимают сладко
картинки эти. Ах, как солнце жгло,
как подоконник накалился гладкий,
и как мы навалились тяжело,

24

всей ротой мы на окна налегли,
когда между казарм на плац вступила
Элеонора. Чуть не до земли
оранжевая юбка доходила,

лишь очертанья ног мы зреть могли.

25

Под импортною кофточкою грудь
высокая так колыхалась ладно,
и бедра колыхались, и дохнуть
не смели мы, в белье казенном жадно
уставясь вниз. И продолжала путь

26

она свой триумфальный. И поля
широкополой шляпы прикрывали
ее лицо, но алых губ края
полуулыбкой вверх приподнимала
она. И черных локонов струя

27

сияла, и огромные очки
зеркальные сияли, и под мышкой

ракетка, но при этом каблуки
высокие, и задницы излишек
осанка искупала. Как легки

28

ее одежды были, яркие как,
как сердце сжалось... Зря смеешься, Лена!
Мне было двадцать лет. Я был дурак.
Мне было плохо. Стоя на коленях,
полночи как-то я и Марущак

29

отскабливали лезвиями пол
линолеумный в коридоре длинном,
ругаясь меж собою. Но пришел...
забыл его фамилию... скотина
такая, сука... то ли Фрол... нет, Прол...

30

Проленко, что ли?.. Прапорщик, козел,
забраковал работу, и по новой
мы начали. Светло-зеленый пол,
дневного света лампы и пунцовый,
насупившийся Марушак. Пришел

31

потом Миронов, и, увидев нас,
он наорал на Прола и отправил
меня на АТС, Серегу в ЛАЗ.
Стажерами мы были, и по праву
припахивали нас... А как-то раз

32

Миронов у дедов отнял вино,
и, выстроив всю роту, в таз вонючий
он вылил пять бутылок. «Ни одной
себе не взял, паскуда, потрох сучий!» –
шептал Савельев за моей спиной.

33

Тринадцать лет прошло. Не знаю я,
действительно ль она Элеонорой
звалась, не знаю, но, душа моя,
талантлив был солдатик тот, который
так окрестил ее, слюну лия.

34

Она была приехавшей женой
майора Тюрина. Я представлял порочно,
как отражает кафель голубой,
налепленный рукой моей, барочный
Элеонорин бюст и зад тугой...

35

Ах, Леночка, я помню кинозал,
надышанный, пропахший нашим потом.
Мы собирались, если не аврал
и не ЧП, всей частью по субботам

и воскресеньям. И сперва читал

36

нам лекцию полковник Пирогов про Чили и Китай, про укрепление готовности, про происки врагов, про XXV съезд, про отношения неуставные. Рядовой Дроздов

37

однажды был на сцену приглашен, и Пирогов с иронией игривой зачитывал письмо его. А он стоял потупясь. «Вот как некрасиво, как стыдно!» – Пирогов был возмущен

38

тем, что Дроздов про пьянку написал и про спанье на боевом дежурстве.

И зал был возмущен, негодовал:
«Салага, а туда же!» Я не в курсе,
Ленуля, все ли письма он читал

39

иль выборочно. Думаю, не все.
А все-таки стихи о Персефоне,
небось, читал, о пресвятой красе
перстов и персей, с коими резонно
был мной аллитерирован Персей.

40

И наконец, он уходил. И свет
гасили в зале, и экран светился.
И помню я через тринадцать лет,
как зал то умолкал, то веселился
громоподобно, Лена. Помню бред

41

какой-то про танцовщицу, цветной
арабский, что ли, фильм. Она из бедных
была, но слишком хороша собой,
и все тесней кольцо соблазнов вредных
сжималось. Но уже мелькнул герой,

42

которому избавить суждено
ее от домогательств богатеев.
В гостинице она пила вино
и танцевала с негодяем, млея.
Уже он влек в альков бедняжку, но...

43

«На выход, рота связи!» – громкий крик
раздался, и, ругаясь, пробирались
мы к выходу, и лишь один старик
и двое черпаков сидеть остались.
За это их заставили одних

44

откапывать какой-то кабель... Так и не узнал я, как же все сложилось у той танцорки. Глупый Марущак потом в курилке забавлял служивых, кривляясь и вихляя задом, как

45

арабская танцовщица... Копать траншею было трудно. Каменистый там грунт и очень жарко. Ах, как спать хотелось в этом мареве, как чисто вода блестела в двух шагах. Шагать

46

в казарму приходилось, потому что только с офицером разрешалось купаться. Но гурьбой в ночную тьму деды в трусах сбегали. Возвращались

веселые и мокрые. «Тимур, –

47

шептал Дроздов, мешая спать, – давай купнемся!» – соблазняя тем, что дрыхнул дежурный, а на тумбочке Мамай из нашего призыва. «Ну-ка спрыгнул сюда, боец! А ну давай, давай!» –

48

ефрейтор Нинкин сетку пнул ногой так, что Дроздова вскинуло. «Купаться, салаги, захотели? Ну борзой народ пошел! Ну вы даете, братцы! Ну завтра покупаемся!»... Какой

49

я видел сон в ту ночь! Чертог сиял. Шампанское прохладною струею

взмывало вверх и падало в хрусталь,
в раскрытых окнах темно-голубое
мерцало небо звездами, играл
оркестр цыганский песню Лорелеи,
и Леда шла, коленками белея,
по брошенным мехам и по коврам
персидским. Перси сладостные, млея,
под легкою туникою и срам
темнеющий я разглядел, и лепет
влюбленный услышал, и тайный трепет
девичьей плоти ощутил. Сиял
чертог, и конфетти, гирлянды, блески,
подвязки, полумаски и сережки,
и декольте, и пенистый бокал,
как в оперетте Кальмана. И пары
кружились, и гавайские гитары
нам пели, и хохляцкие цимбалы,
и вот в венке Галинка подошла,
сказала, что не нужен ей мужчина
другой, что краше хлопца не знайшла,
брат Жора в сапогах и свитке синей
плясал гопак, веселый казачина,
с Марущаком. И сена аромат
от Гали исходил, босые ножки
притопывали, розовый мускат
мы пили с ней, и деревянной ложкой
вареники мы ели. Через сад
на сеновал мы пробежали с Галей.
Танцовщицы арабские плясали

и извивались будто змеи, счесть
алмазов, и рубинов, и сапфиров
мы не могли, и лейтенант Шафиров
в чалме зеленой предложил присесть,
отведать винограда и шербета,
и соловей стонал над розой где-то,
рахат-лукум, халву и пастилу,
сгущенку и портвейн «Букет Прикумья»
вкушали мы с мороженым из ГУМа,
и нам служил полунагой зулус
с блестящим ятаганом, Зульфия
ко мне припала телом благовонным,
сплетались руки, страсти не тая,
и теплый ветер пробежал по кронам
под звон зурны, и легкая чадра
спала, и легчайшие шальвары
спускались, и разматывалось сари,
японка улыбалась и звала,
прикрыв рукою треугольник темный,
и море набегало на песок
сияющего берега, и огромный
янтарный скорпион лежал у ног,
магические чары расточая...
Какие-то арапы, самураи
верхом промчались. Леда проплыла
в одежде стройотрядовской, туда же
промчался лебедь. Тихо подошла
отрядная вожатая Наташа
и, показав мне глупости, ушла

за КПП. И загорали жены
командного состава без всего,
но тут раздались тягостные стоны –
как бурлаки на Волге, бечевой
шли старики, влача в лазури сонной
трирему, и на палубе злаченой
в толпе рабынь с пантерой ручной
плыла Она в сверкающей короне
на черных волосах! Над головой
два голубя порхали, и в поклоне
все замерли, и в звонкой тишине
с улыбкой на устах бесстыдно-алых
Элеонора шла зеркальным залом,
шла медленно, и шла она ко мне!
И черные ажурные чулки,
и тяжкие запястья, и бюстгальтер
кровоаво-золотой, и каблуки
высокие! Гонконговские карты,
мног виденные как-то раз в купе,
ожившие, ее сопровождали,
и все тянулось к Ней в немой мольбе!
Но шла Она ко мне! И зазвучали
томительные скрипки, лепестки
пионов темных падали в фонтаны
медлительно. И черные очки
Она сняла, приблизившись. И странным,
нездешним светом хищные зрачки
сияли, и одежды ниспадали,
и ноготки покрашенные сжали

мне... В общем, Лена, двадцать лет
мне было. И, проснувшись до подъема,
я плакал от стыда. И мой сосед
Дроздов храпел. И никакого брома
не содержали, Лена, ни обед,
ни завтрак и ни ужин. Вовсе нет.

IX. Эклога

Мой друг, мой нежный друг, зарывшись с головою
в пунцовых лепестках гудит дремучий шмель.
И дождь слепой пройдет над пышною ботвою,
в террасу проскользнет сквозь шиферную щель,

и капнет на стихи, на желтые страницы
Эжена де Кюсти, на огурцы в цвету.
И жесьть раскалена, и кожа золотится,
анисовка уже теряет кислоту.

А раскладушки холст все сохраняет влажность
ушедшего дождя и спину холодит.
И пение цикад, и твой бюстгальтер пляжный,
и сонных кур возня, и пенье аонид.

Сюда, мой друг, сюда! Ты знаешь край, где вишня
объедена дроздом, где стрекот и покой,
и киснет молоко, мой ангел, и облыжно
благословляет всех зеленокудрых зной.

Зеленокудрый фавн, безмозглый, синеглазый,
капустницы крыла и Хлои белизна.
В сарае темном пыль, и ржавчина, и грязный
твой плюшевый медведь, и лирная струна

поет себе, поет. Мой нежный друг, мой глупый,
нам некуда идти. Уж огурцы в цвету.
Гармошка на крыльце, твои сухие губы,
веснушки на носу, улыбки на лету.

Но, ангел мой, замри, закрой глаза. Клубнику
последнюю уже прими в ладонь свою,
александрийский стих из стародавней книги,
французскую печаль, летецкую струю

тягучую, как мед, прохладную, как щавель,
хорошую, как ты, как огурцы в цвету.
И говорок дриад, и купидон картавый,
соседа-фавна внук в полуденном саду.

Нам некуда идти. Мы знаем край, мы знаем,
как лук порей красив, как шмель нетороплив,
как зной смежил глаза и цацкается с нами,
как заросла вода под сенью старых ив.

И некуда идти. И незачем. Прекрасный,
мой нежный друг, сюда! Взгляни – лягушка тут
зеленая сидит под георгином красным.
И пусть себе сидит. А нам пора на пруд.

Конец

Сантименты 1989

Лене Борисовой

Вместо эпиграфа *Из Джона Шейда*

Когда, открыв глаза, ты сразу их зажмуришь
от блеска зелени в распахнутом окне,
от пенья этих птиц, от этого июля, –
не стыдно ли тебе? Не страшно ли тебе?

Когда сквозь синих туч на воды упадает
косой последний луч в осенней тишине,
и льется по волне, и долго остывает, –
не страшно ли тебе? Не стыдно ли тебе?

Когда летящий снег из мрака возникает
в лучах случайных фар, скользнувших по стене,
и пропадает вновь, и вновь бесшумно тает
на девичьей щеке, – не страшно ли тебе?

Не страшно ли тебе, не стыдно ль – по асфальту

когда вода течет, чернеет по весне,
и в лужах облака, и солнце лижет парту
четвертой четверти, – не стыдно ли тебе?

Я не могу сказать, о чем я, я не знаю...
Так просто, ерунда. Все глупости одне...
Такая красота, и тишина такая...
Не страшно ли, скажи? Не стыдно ли тебе?

Мише Айзенбергу

Эпистола о стихотворстве

*Все произведения мировой литературы я делю
на разрешенные и написанные без разрешения.
Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух.
Писателям, которые пишут заведомо разрешенные
вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой
по голове...*

Осип Мандельштам

1

«Посреди высотных башен
вид гуляющего...» Как,
как там дальше? Страшен? Страшен.
Но ведь был же, Миша, знак,
был же звук! И бедный слух
напрягая, замираем,
отгоняя, словно мух,
актуальных мыслей стаи,
отбиваемся от рук,
от миллиона липких рук,
от наук и от подруг.
Воздух горестный вдыхая,

синий воздух, нищий дух.

2

Синий воздух над домами
потемнел и пожелтел.
Белый снег под сапогами
заскрипел и посинел.
Свет неоновый струится.
Мент дубленый засвистел.
Огонек зеленый мчится.
Гаснут окна. Спит столица.
Спит в снегах СССР.
Лишь тебе еще не спится.

3

Чем ты занят? Что ты хочешь?
Что губами шевелишь?
Может, Сталина порочишь?
Может, Брежнева хулишь?
И клянешь года застоя,
позитивных сдвигов ждешь?
Ты в ответ с такой тоскою –

«Да пошли они!» – шепнешь.

4

Человек тоски и звуков,
зря ты, Миша. Погляди –
излечившись от недугов,
мы на истинном пути!
Все меняют стиль работы –
Госкомстат и Агропром!
Миша, Миша, отчего ты
не меняешь стиль работы,
все талдычишь о своем?

5

И опять ты смотришь хмуро,
словно из вольера зверь.
Миша, Миша, диктатура
совести у нас теперь!
То есть, в сущности, пойми же,
и не диктатура, Миш!
То есть диктатура, Миша,
но ведь совести, пойми ж!

Ведь не Сталина-тирана,
не Черненко моего!
Ну какой ты, право, странный!
Не кого-то одного –
Совести!! Шатрова, скажем,
ССП и КСП,
и Коротича, и даже
Евтушенко и т. п.!
Всех не вспомнишь. Смысла нету.
Перечислить мудрено.
Ведь у нас в Стране Советов
всякой совести полно!

6

Хватит совести, и чести,
и ума для всех эпох.
Не пустует свято место.
Ленин с нами, видит Бог!
Снова он на елку в Горки
к нам с гостинцами спешит.
Детки прыгают в восторге.
Он их ласково журит.
Ну не к нам, конечно, Миша.
Но и беспризорным нам
дядя Феликс сыщет крышу,
вытащит из наших ям,

и отучит пить, ругаться,
приохотит к ремеслу!
Рады будем мы стараться,
рады теплему углу.

7

Рады, рады... Только воздух,
воздух синий ледяной,
звуков пустотелых гроздя
распирают грудь тоской!
Воздух краденый глотая,
задыхаясь в пустоте,
мы бредем – куда не знаем,
что поем – не понимаем,
лишь вдыхаем, выдыхаем
в полоумной простоте.
Только вдох и только выдох,
еле слышно, чуть дыша...
И теряются из вида
диссиденты ВПШ.

8

И прорабы духа, Миша,
еле слышны вдалеке.
Шум все тише, звук все ближе.
Воздух чище, чище, чище!
Вдох и выдох налегке.
И не видно и не слышно
злополучных дурней тех,
тех тяжелых, душных, пышных
наших преющих коллег,
прущих, лезущих без мыла
с Вознесенским во главе.
Тех, кого хотел Эмильич
палкой бить по голове.
Мы не будем бить их палкой.
Стырим воздух и уйдем.
Синий-синий, жалкий-жалкий
нищий воздух сбережем.

9

Мы не жали, не потели,
не кляли земной удел,
мы не злобились, а пели
то, что синий воздух пел.
Ах, мы пели – это дело!
Это – лучшее из дел!..
Только волос поседел.

Только голос, только голос
истончился, словно луч,
только воздух, воздух, воздух
струйкой тянется в нору,
струйкой тоненькой сочится,
и воздушный замок наш
в синем сумраке лучится,
в ледяной земле таится,
и таит и прячет нас!
И воздушный этот замок
(ничего, что он в земле,
ничего, что это яма)
носит имя Мандельштама,
тихо светится во мгле!
И на улице на этой,
а вернее, в яме той
праздника все также нету.
И не надо, дорогой.

10

Так тебе и надо, Миша!
Так и надо, Миша, мне!..
Тише. Слышишь? Вот он, слышишь?
В предрассветной тишине
над сугробами столицы
вот он, знак, и вот он, звук,

синим воздухом струится,
наполняя бедный слух!
Слышишь? Тише. Вот он, Миша!
Ледяной проточный звук!
Вот и счастье выше крыши,
выше звезд на башнях, выше
звезд небесных, выше мук
творческих, а вот и горе,
вот и пустота сосет.
Синий ветер на просторе
грудь вздымает и несет.
Воздух краденый поет.

Эпитафии бабушкиному двору

1

Ты от бега и снега налипшего взмок.
Потемневший, подтаявший гладкий снежок
ты сжимаешь в горячей ладошке
и сосешь воровато и жадно, хотя
пить от этого хочешь сильнее.
Жарко... Снять бы противный девчачий платок
из-под шапки... По гладкой дорожке
разогнавшись, скользишь, но полметра спустя –
вверх тормашками, как от подножки.

Солнце светит – не греет. А все же печет.
И в цигейке с родного плеча горячо,
жарко дышит безгрешное тело.
И болтаются варежки у рукавов,
и прикручены крепко снегурки...
Ледяною корою покрылся начес
на коленках. И вот уже целый
месяц елка в зеркальных пространствах шаров
искривляет мир комнаты белой.

И ангиной грозит тебе снег питьевой.

Это, впрочем, позднее. А раньше всего,
сладострастней всего вспоминаешь
четкий вафельный след от калош на пустом,
на первейшем крахмальном покрове.
И земля с еще свежей зеленой травой
обнажится, когда ты катаешь
мокрый снег, налипающий пласт за пластом,
и пузатую бабу ваяешь.

У колонки наросты негладкого льда...
Снегири... Почему-то потом никогда
не видал их... А может, и раньше
видел лишь на «Веселых картинках» и сам
перенес их на нашу скамейку –
только это стоит пред глазами всегда.
С меха шубки на кухне стекает вода.
Я в постели свернулся в клубок и примолк,
мне читают «Письмо неумейке».

Русская песня. Пролог

Я берег покидал туманный Альбиона.
Я проходил уже таможенный досмотр.
Как некий Чайльд-Гарольд в печали беззаконной
я озираю аэропорт.

Покуда рыжий клерк, сражаясь с терроризмом,
Денискин «Шарп» шмонал, я бросил взгляд назад,
я бросил взгляд вперед, я встретил взгляд Отчизны,
и взгляд заволокла невольная слеза.

Невольною тоской стеснилась грудь. Прощай же!
Любовь моя, прощай, Британия, прощай!
И помнить обещаю.
И вам поклон нижайший,

английские холмы!.. Душа моя мрачна –
My soul is dark. Скорей, певец, скорей!
Опять ты с Ковалем напился допьяна.
Я должен жить, дыша и болыпевея.
Мне не нужна

страна газонов стриженных и банков,
каминов и сантехники чудной.
Британия моя, зеленая заграника,
мой гиннесс дорогой!

Прощай, моя любовь!... Прощание славянки...
Прощай, труба зовет, зовет Аэрофлот.

Кремлевская звезда горит, как сердце Данко,
«Архипелаг ГУЛАГ» под курткой ревет.

Платаны Хэмпстэда, не поминайте лихом!
Прощай, мой Дингли Делл. Прощай, король Артур.
Я буду вспоминать в Отечестве великом
тебя, сэр Саграмур.

Прощай, мой Дингли Делл. Я не забуду вас.
Айвенго, вашу руку!
Судьба суровая на вечную разлуку,
быть может, породнила нас.

Прощай, мой Дингли Делл, мой светлый Холли Буш,
газонов пасмурных сиянье.
Пью вересковый мед, пью горечь расставанья.
Я больше не вернусь.
Прощай, Британия... My native land, welcome!
Welcome, welcome, завмаги и завгары!
Привет вам, волочильщики, и вам,
сержанты, коменданты, кочегары,
вахтерши, лимита, медперсонал,
кассирши, гитаристы, ИТРы,
оркестров симфонических кагал,
пенсионеры, воры, пионеры,
привет горячий, пламенный привет

вам, хлопкоробы, вам, прорабы,
народный университет,
Степашка с Хрюшей, Тяпа с Ляпой,
ансамбль Мещерина, балет,
афганцы злые, будки, бабы,
мальчишки, лавки, фонари,
дворцы – гляди! – монастыри,
бухарцы, сани, огороды,
купцы, лачужки, мужики,
бульвары, башни, казаки,
аптеки, магазины моды,
балконы, львы на воротах
и стаи галок на крестах.

Привет, земля моя. Привет, жена моя.
Пельмени с водочкой – спасибо!
Снег грязненький поет и плачет в три ручья,
и голый лес такой красивый!

Вновь пред твоей судьбой, пред встречей роковой
я трепещу и обмираю.
Но мне порукой Пушкин твой,
и смело я себя вверяю!..

Эпитафии бабушкиному двору

2

Но вот уже, в боты набравши воды,
корабль из слоистой сосновой коры
пускаешь по мусорным бурным ручьям,
слепящим глаза!

Веселое, словно коза-дереза,
брыкастое солнце изводит следы
обглоданных, нечистоплотных снегов
по темным углам.

И прель прошлогодняя, ржавчина, хлам
прекрасны! И так же прекрасен и нов
мяча сине-красного первый шлепок!
И вот уже, вот —

и сладких, и липких листочков налет
покрыл древесину, и ты изнемог
от зависти, глядя, как дядя Вадим
сарай распахнул

и пыльный «Орленок» выводит за руль.

И вот уже, гордый бесстрашьем своим,
ты слышишь гуденье двух пойманных ос
в пустом коробке.

И в маленьком пятиконечном цветке,
единственном в горах сиреневых звезд
у нашей калитки, ты счастье найдешь.
И вот уже кровь

увидев на грязной коленке, готов
расплакаться, но ничего, заживешь
до свадьбы. И дедушка снова с утра
отправился в сад.

И в розово-белом деревья стоят.
И ждет не дождется каникул сестра.
И вечером светлым звучит издали
из парка фокстрот.

И вот уже ставни закрыты. И вот
ты спишь и лежишь от прогретой земли.
И тело растет.

К вопросу о романтизме

*Всем телом, всем сердцем, всем сознанием –
слушайте Революцию!*

Александр Блок

И скучно, и грустно. Свинцовая мерзость.
Бессмертная пошлость. Мещанство кругом.
С усами в капусте. Как черви слепые.
Давай отречемся! Давай разобьем
оковы! И свергнем могучей рукою!
Гори же, возмездья священный огонь!

На волю! На волю из душной неволи!
На волю! На волю! Эван эвоэ!
Плесну я бензином! Гори-гори ясно!
С дороги, филистер, буржуй и сатрап!!
Довольны своей конституцией куцой!?
Печные горшки вам дороже, скоты?
Так вот же вам, вот! И посыпались стекла.

Эван эвоэ! Мы под сводом законов
задохлись без солнца – даешь динамит!
Ножом полосну, полосну за весну я!
Мне дела нет, сволочь, а ну сторонись!

С дороги, с дороги, проклятая погань!

О Либер, о Либер, свободы мой бог!
Спаси, бля, помилуй, насилиуй, насилиуй!
Тошнит от воды с вашей хлоркой! Залей
вином нас, и кровью, и спермой, восторгом
преданья огню! Предадимся огню!
Хочу я, и все тут, хочу я, хочу я!
На горе буржуям, эх-эх, попляши!

Гори, полыхай, ничего не жалей!
Сарынь, бля, на кичку! Эван эвоэ!
Довольно законом нам жить! Невтерпеж!
Нет удержу! Нет! Не хочу, не хочу!
Пусть все пропадает. Эх, эх, согреси!
И пусть только сунется Тот, Кто терпел
и нам повелел! Невтерпеж мне! Ату!
Он нам ни к чему! Нам Варраву, Варраву!
Не сторож я брату, не сторож, не брат!

Напишем на знамени «Нет!» Ни на чью
команду мы «Есть!» не ответим! Срываем
погоны, гауптвахту к чертям разломаем!
Уйдем в самоволку до смерти! Сарынь
на кичку! Allons же enfants на отцов!
Откажемся впредь сублимировать похоть!
Визжи под ножом, толстомясая мразь!

Эй, жги город Гамельн! Эй, в стойла соборы!
Гулящая девка на впалой груди!
Не трусь! Aut Caesar, пацан, aut nihil!

Долой полумеры! Эй, шашки подвысь!

Эгей! Гуляй, поле, и, музыка, грянь же
над сворою псов-волкодавов! Долой!
Вся власть никому, никому, ничему!
Да здравствует nihil! Но даже Ничто
над нами не властно, не властно, не властно!

Свобода, свобода, эх-эх, без креста!
Так пусть же сильнее грянет буря, ебеньть!
Эх-эх, попляши, попляши, Саломея,
сколь хочешь голов забирай, забирай!
О злоба святая! О похоть святая!
Довольно нам охать, вздыхать, подыхать!
Буржуи, буржуи, жлобы, фраера,
скорей прячьте жирное тело в утесах!
Свобода крылата – и перышком в бок!
Отдай же мне Богово Бог, и отдай
мне, кесарь, свое – подобру-поздорову!
По злу отберу! Са ira! Са ira!
Всех кратов повесим, повесим, повесим!

Казак, не терпи, не терпи ничего,
а то атаманом не будешь, не будешь!
О nihil! О вольный полет в пустоте!
Бесцветная жизнь, но от крови – малина!
Не ссы! За процентщицей вслед замочи
и Соню, сначала отхарив, и Дуню,
и Федор Михалыча! Право имей!

Не любо? Дрожащая тварь, что – не любо?
Ага! Будешь знать, будешь знать, будешь знать!
Бог если не умер, то будет расстрелян!
За все отомстим мы, всему отомстим!
И тем, и другим, и себе, и себе!

Allons в санкюлоты! Срывай же штаны!
Пусти же на волю из этих Бастилий
зверюгу с фригийской головкою! Гей!
Нож к горлу – и каждая будет твоей!
Нож в горло – и ты *Übermensch*, и Бог умер!

«Эй, дай закурить! Ах, не куришь, козел!»
И бей по очкам эту суку! Прикончи!
Его, и его, и себя, и себя!
Смысл свергнут! Царь и в голове не уйдет!
Эй, бей на куски истукан Аполлона!
Да скроется солнце, да здравствует тьма!

О вскроем же фомкою ящик Пандоры,
в который свободу упрятали вы!
Растопим же сало прогорклое ваше
огнем мирового пожара! Даешь!
Единственный способ украсить жилплощадь –
поджечь ее! Хижинам тоже война!
Все стены долой, все границы, все плевы!
Allons же в безбрежность, *enfant мой terrible*!

Весь мир мы разрушим, разрушим, разрушим!

И строить не будем мы новый, не будем!
И что было всем, снова станет ничем!
О Хаос родимый! О демон прекрасный!

Гори же ты пламенем синим! Плевать!
И вечный, бля, бой! Эй, пальнем-ка, товарищ,
в святую – эх-ма – толстозадую жизнь!

О, пой же, сирена, мне песнь о свободе,
о гибели, гибели, гибели пой!
Я воском не стану глушить твоё пенье!
О, пой же мне древние песни, о, пой
про Хаос родимый, родимый, родимый!

Хочу! Выхожу из себя, из тюрьмы!
Из трюма – из тела уж лучше на дно нам!
Мы днище продолбим, продолбим, продолбим!
Эван эвоэ! О тимпаны в висках!
О сладость, о самозабвенье полета –
пусть вниз головой, пусть единственный раз,
с высот крупноблочного дома в асфальт!
Кончай с этой рабской душой и телом!..

И вот я окно распахнул и стою,
отбросив ногою горшочек с геранью.
И вот подоконник качнулся уже...

И вдруг от соседей пахнуло картошкой,
картошкой и луком пахнуло до слез.

И слюнки текут... И какая же пошлость
и глупость какая! И жалко горшок
разбитый. И стыдно. Ах, Господи Боже!
Прости дурака! Накажи сопляка
за рабскую злобу и неблагодарность!

Да здравствуют музы! Да здравствует разум!
Да здравствует мужество, свет и тепло!
Да здравствует Диккенс, да здравствует кухня!
Да здравствует Ленкин сверчок и герань!

Гостей позовем и картошки нажарим,
бокалы содвинем и песню споем!

Русская песня

Нелепо ли, братцы? – Конечно.
Еще как нелепо, мой свет.
Нет слаще тебя и крошечней,
тебя несуразнее нет!

Твои это песни блатные
сливаются с музыкой сфер,
Россия, Россия, Россия,
Российская СФСР!

И льется под сводом Осанна,
и шухер в подъезде шмыгнул.
Женой Александр Алексанч
назвал тебя – ну сказанул!

Тут Фрейду вмешаться бы впору,
тут бром прописать бы ему!
Получше нашла ухажера
Россия, и лишь одному

верна наша родная мама,
нам всем Джугашвили отец,
эдипова комплекса драму
пора доиграть наконец...

А мне пятый пункт не позволит
и сыном назваться твоим.
Нацменская вольная воля,
развейся Отечества дым!

Не ты ль мою душу мотала?
Не я ль твою душу мотал?
В трамвае жидом обзывала,
в казарме тюрьмою назвал.

И все ж от Москвы до окраин
шагал я, кругом виноват,
и слышал, очки протирая,
великий, могучий твой мат!

И побоку злость и обиды,
ведь в этой великой стране
хорошая девочка Лида
дала после танцев и мне!

Ведь вправду страны я не знаю,
где б так было вольно писать,
где слово, в потемках сгорая,
способно еще убивать...

О Господи, как это просто,
как стыдно тебе угодить,
наколки, и гной, и коросту
лазурью и златом покрыть!

Хоругви, кресты да шеломы,
да очи твои в пол-лица!
Для этой картины искомой
ищи побойчее певца!

Позируй Илье Глазунову,
Белову рассказ закажи
и слушай с улыбкой фартовой,
на нарах казенных лежи.

Пусть ласковый Сахар Медович,
Буй-тур Стоеросов пускай,
трепещущий пусть Рабинович
кричат, что не нужен им рай –

дай Русь им!.. Про это не знаю.
Но, слыша твой окрик: «Айда!» –
манатки свои собираю,
с тобой на этап выходя.

И русский-нерусский – не знаю,
но я буду здесь умирать.
Поэтому этому краю
имею я право сказать:

стихия, Мессия, какие
еще тебе рифмы найти?
В парижских кафе – ностальгия,

в тайге – дистрофия почти,

и – Боже ж ты мой! – литургия,
и Дева Мария, и вдруг –
петлички блестят голубые,
сулят, ухмыляясь, каюк!

Ведь с четырехтомником Даля
в тебе не понять ни хрена!
Ты вправду и ленью, и сталью,
и сталью, и ленью полна.

Ты собственных можешь Платонов,
Невтонов плодить и гноить,
и кровью залитые троны
умеешь ты кровью багрить!

Умеешь последний целковый
отдать, и отнять, и пропить,
и правнуков внука Багрова
в волне черноморской топить!

Ты можешь плясать до упаду,
стихи сочинять до зари,
и тут же, из той же тетради
ты вырвешь листок и – смотри –

ты пишешь донос на соседа,
скандалишь с помойным ведром,

французов катаешь в ракете,
кемаришь в полночном метро,

дерешься саперной лопаткой,
строптивых эстонцев коришь,
и душу, ушедшую в пятки,
Высокой Духовностью мнишь!

Дотла раскулачена, плачешь,
расхристана – красишь яйцо,
на стройках и трассах ишачишь,
чтоб справить к зиме пальтецо.

Пусть блохи английские пляшут,
нам их подковать недосуг,
в субботу мы черную пашем,
отбившись от собственных рук.

Последний кабак у заставы,
последний пятак в кулаке,
последний глоток на халяву,
и Ленин последний в башке.

С тоской отвернувшись от петель,
сам Пушкин прикрыл тебе срам.
Но что же нам все же ответить
презрительным клеветникам?

Вот этого только не надо!

Не надо бубнить про татар,
про ляхов и немцев, про НАТО,
про жидо-масонский кагал!

Смешно ведь... Из Афганистана
вернулись. И времени нет.
Когда ж ты дрожать перестанешь
от крика: «На стол парбилет!»?

Когда же, когда же, Россия?
Вернее всего, никогда.
И падают слезы пустые
без смысла, стыда и следа.

И как наплевать бы, послать бы,
скипнуть бы в Европу свою...
Но лучше сыграем мы свадьбу,
но лучше я снова спою!

Ведь в городе Глупове детство
и юность прошли, и теперь
мне тополь достался в наследство,
асфальт, черепица, фланель,

и фантик от «Раковой шейки»,
и страшный поход в Мавзолей,
снежинки на рыжей цигейке,
герань у хозяйки моей,

и шарик от старой кровати,
и Блок, и Васек Трубачев,
крахмальная тещина скатерть,
убитый тобой Башлачев,

досталась Борисова Лена,
и песня про Ванинский порт,
мешочек от обуви сменной,
антоновка, шпанка, апорт,

закат, озаривший каптерку,
за Шильковым синяя даль,
защитна твоя гимнастерка
и темно-вишневая шаль,

и версты твои полосаты,
жена Хасбулата в крови,
и зэки твои, и солдаты,
начальнички злые твои!

Поэтому я продолжаю
надеяться черт-те на что,
любить черт-те что, подыхая,
и верить, и веровать в то,

что Лазарь воскреснет по Слову
Предвечному, вспрянет от сна,
и тихо к Престолу Христову
потянемся мы с бодуна!

Потянемся мы, просыпаясь,
с тяжелой, пустой головой,
и щурясь, и преображаясь
от света Отчизны иной –

невиданной нашей России,
чахоточной нашей мечты,
воочью увидев впервые
ее дорогие черты!

И, бросив на стол партбилеты,
в сиянии радужных слез
навстречу Фаворскому Свету
пойдет обалдевший колхоз!

Я верую – ибо абсурдно,
абсурдно, постыдно, смешно,
бессмысленно и безрассудно,
и, может быть, даже грешно.

Нелепо ли, братцы? – Нелепо.
Молись, Рататуй дорогой!
Горбушкой канадского хлеба
занюхай стакан роковой.

Эпитафии бабушкиному двору

3

Распахнута дверь. И в проеме дверном
колышется тщетная марля от мух.
И ты, с солнцепека вбежав за мячом,
босою и пыльной ступней ощутишь
прохладную мытую гладь половиц.
Побеленных комнат пустой полумрак
покажется странным. Дремотная тишь.
Лишь маятник, лишь монотонность осы,
сверлящей стекло, лишь неверная тень
осы сквозь крахмал занавески... Но вновь,

глотнув из ведра тепловатой воды,
с мячом выбегаешь во двор и на миг
ослепнешь от шума, жары и цветов,
от стука костяшек в пятнистой тени,
где в майках, в пижамах китайских сидят
мужчины и курят «Казбек», от возни
на клумбе мохнатых, медлительных пчел.

Горячей дорожкой из кирпича
нестарая бабушка с полным ведром

блестящей воды от калитки идет.
Томительно зреют плоды. Алыча,
зеленая с белою косточкой, вся
безвременно съедена... На пустыре
плохие большие мальчишки в футбол
и карты играют. Тебе к ним нельзя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.